



РЕЯ БЁРН

Мой
ГОСЕЛ
ЗВЕРЬ

Рея Бёрн

Мой сосед - зверь

<https://litres.ru/74283882>

Аннотация

Я увидела, как мой сосед смывает кровь с рук в три часа ночи, и вместо того, чтобы вызвать полицию, просто затянулась сигаретой. Эльдар — дикий зверь с холодными глазами и костяшками в ссадинах, который не просит разрешения, а просто забирает то, что хочет. Теперь у него есть ключ от моей двери, а на моих бёдрах — отпечатки его тяжелых ладоней.

Он обещал, что сделает мне больно, и я ему верю. Каждый раз, когда он смыкает руку на моем горле или оставляет на мне свою метку, я понимаю: бежать поздно. Мой сосед не умеет любить — он умеет только владеть, ломать и подчинять. И я добровольно иду в его клетку, зная, что выхода из неё нет.

Содержание

Глава 1. Кровь	4
Глава 2. Сосед	7
Глава 3. Утро	10
Глава 4. Редакция	14
Глава 5. Бессонница	20
Глава 6. Суббота	24
Глава 7. Подвал	29
Глава 8. Дождь	36
Глава 9. Крыша	42
Глава 10. Гроза	48
Глава 11. Огонь	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Глава 1. Кровь

Алёна

Коробки стоят повсюду, и я не разобрала ни одной: вытащила на балкон табурет, села, вытянула сигарету из мятой пачки и щёлкнула зажигалкой. Три часа ночи, июль, Москва плавится даже в темноте, и воздух во дворе густой и тёплый, с липой и нагретым асфальтом.

Затягиваюсь и думаю о том, что завтра первый день в новой редакции, а у меня даже кружка не распакована. И уют. И нормальная одежда, которая лежит в коробке с надписью «СРОЧНОЕ», закопанной мной под тремя другими.

Выдыхаю дым.

Новый дом — старый московский колодец: шесть этажей, замкнутый прямоугольник, окна смотрят в общий двор, и до противоположного крыла метров пятнадцать. Балкон у меня из кухни, и кухонное окно смотрит туда же. Почти все окна напротив тёмные, но одно, на третьем этаже, как и у меня, горит низким тёплым светом настольной лампы.

Я вижу кухню. Раковину. И человека.

Мужчина, широкая спина, чёрная футболка. Он стоит, наклонившись над раковиной, и я сначала решаю, что он моет посуду. В три часа ночи. Нормально, все мы немного безумны.

А потом он поднимает руки.

Вода льётся с его пальцев, и она не прозрачная, а тёмная и густая, и он трёт ладони друг о друга, методично и тщательно, и разводы стекают в белую раковину.

Кровь.

Он смывает кровь с рук.

Сигарета замирает у моих губ. Я знаю, что нужно отвернуться, что нормальный человек ушёл бы с балкона, закрыл дверь и, может быть, даже вызвал полицию. Но я сижу и смотрю, как замороженная, и в голове бьётся один вопрос: чья это кровь.

Он выключает воду, берёт полотенце, белое, и вытирает руки, и на ткани остаются розовые пятна. А потом поднимает голову и смотрит прямо на меня.

Не в мою сторону и не мимо. На меня.

Наши взгляды встречаются через пятнадцать метров ночного воздуха, через двор и его стекло, и я физически чувствую этот взгляд, будто кто-то прижал ладонь к моим рёбрам и надавил.

Он не отводит глаз, не дёргается, не тянется к шторе. Просто стоит и смотрит на меня, спокойно и изучающе, и от этого спокойствия у меня холодеет под кожей. Потому что человека, которого застали за таким, должна застать хотя бы неловкость, а лучше паника.

А он смотрит с ленивым интересом кота, который заметил мышь и ещё не решил, стоит ли тратить силы.

Я заставляю себя затянуться и выдохнуть дым, не отводя

взгляда, хотя внутри всё орёт: отвернись, уйди.

Он чуть наклоняет голову. И улыбается.

Одним уголком рта, даже не улыбка, а тень ухмылки, и читается эта тень однозначно: я тебя вижу, и мне плевать, что ты видела.

Он поднимает руку, медленно, будто у нас впереди вся ночь, и задёргивает штору.

Я сижу ещё минуту и смотрю на тёмное окно. Сигарета догорела до фильтра и жжёт пальцы, а я даже не заметила.

Туплю окурок о перила, ухожу с балкона, запираю дверь.

Ложусь на матрас, брошенный прямо на пол среди коробок, и долго лежу с открытыми глазами, и слушаю, как колотится сердце.

И только под утро понимаю: он не выглядел как человек, которого застали. Он выглядел как человек, который позволил себя увидеть.

Глава 2. Сосед

Эльдар

Она стояла на балконе и курила. Новенькая. Та квартира пустовала два месяца, я привык к темноте в том окне, а теперь в нём свет и девчонка с сигаретой, и из всех ночей она выбрала именно эту.

Выключаю лампу на кухне, сажусь на стул в темноте, разминаю пальцы. Костяшки саднят, кожа содрана на двух, указательном и среднем правой. Не сильно, бывало хуже.

Она видела.

Стояла и смотрела, и не отвернулась, и зацепило меня именно это. Не то, что заметила кровь: через двор, ночью, хрен разберёшь. Может, решила, что я резал мясо. Может, вообще не поняла, на что смотрит.

Но она не отвернулась.

Откидываю голову назад, закрываю глаза. Телефон вибрирует на столе, скорее всего Руслан, спрашивает, как всё прошло. Не беру.

Как прошло. Нормально прошло. Лёша Ковальчук полгода был должен Марату и думал, что можно просто не отвечать на звонки, а оказалось, что нельзя. Я объяснил это его лицу, его лицо согласилось, и он заплатит к пятнице.

Ничего нового.

Иду в ванную, стягиваю футболку, включаю душ. Горячая

вода бьёт в плечи, я стою, упёршись ладонями в стену, и думаю о ней.

Маленькая, тонкая, волосы в темноте толком не разглядел. Зато разглядел, как она держала сигарету: не между указательным и средним, а между средним и безымянным, странный жест, почти манерный, но не нарочитый. Привычка.

И глаза. Она смотрела не мигая, и огонёк от сигареты отражался в её любопытных зрачках.

Она даже не дернулась, когда я посмотрел. А дёргаются все. Даже мужики, которые считают себя жёсткими, отводят взгляд первыми, и это не хвастовство, а факт, с которым я живу уже много лет. В моём лице есть то, от чего люди делают шаг назад раньше, чем успевают подумать.

А она стояла и курила, и смотрела на меня, как на вид из окна. Как на ночной пейзаж.

Либо смелость, либо она вообще не поняла, во что вляпалась.

Выключаю воду, вытираюсь. В зеркале моё лицо, и я привычно не задерживаю на нём взгляд: шрам на левой скуле, крыло татуировки, уходящее за ухо, синяки под глазами, давно ставшие частью анатомии.

Ложусь. Потолок в трещинах.

Достаю телефон, набираю Руслану.

— Чисто. Заплатит.

— Руки?

— Жить буду.

— Эл, Марат сказал, в субботу...

— В субботу буду.

Сбрасываю, кладу телефон экраном вниз.

И лежу в темноте, и думаю о том, как она держала сигарету. И о том, что мне почему-то важно оказаться утром во дворе раньше, чем она выйдет из подъезда.

Глава 3. Утро

Алёна

Будильник в семь. Четыре часа сна. Зеркало в ванной ещё не повешено, поэтому я крашусь, глядя во фронтальную камеру телефона, и результат соответствующий.

Кофе нет. Турка в одной из двенадцати коробок. Я стою посреди кухни в юбке и лифчике и понимаю, что рубашка, которую я погладила вчера — единственный осмысленный поступок за весь переезд, — висит на балконе.

На балконе. Который напротив его окна.

Стою секунду, потом мысленно посылаю себя к чёрту, выхожу и снимаю рубашку с сушилки, и почти справляюсь с тем, чтобы не посмотреть на его окно. Штора задёрнута, серая ткань неподвижна, и он может спать, а может, вообще ушёл ещё ночью, а может, мне всё это приснилось.

Не приснилось. Я знаю, что не приснилось, потому что до сих пор чувствую этот тяжёлый взгляд как отпечаток на коже.

Одеваюсь. Белая рубашка, заправленная в серую юбку, волосы в низкий хвост, серёжки, которые Катя подарила мне на двадцать три, маленькие золотые полумесяцы. Сумка через плечо, кеды, потому что каблуки, конечно же, в коробке.

Выхожу из подъезда.

Солнце уже раскочегарилось. Двор маленький, замкнутый

со всех сторон стенами нашего же дома: лавочка, детская площадка, три тополя. От моего крыла до его несколько метров утоптанной земли и пара клумб.

Я разворачиваюсь к арке и вижу его.

Он сидит на лавочке чуть поодаль. Нет, не сидит — располжился, как будто лавочка принадлежит ему, и двор принадлежит ему, и утро тоже. Одна рука раскинута на спинке, ноги вытянуты, в другой бумажный стакан с кофе.

И я вижу его при свете.

У меня перехватывает дыхание, и это злит, и я тут же давя злость в себе, потому что ну уж нет. Нет-нет-нет. Этот человек вчера смывал чужую кровь с рук, и мне плевать, как он выглядит.

Но я всё равно вижу. Тёмные волосы чуть длиннее, чем обычно носят, падают на лоб, и он их не убирает. Скулы резкие, будто лицо вырезано из твёрдого дерева, на левой белый шрам. Брови тёмные и прямые, а под ними глаза. Серые. Светлые и серые, как колючее зимнее небо.

Татуировка на шее уходит за ухо и скрывается под чёрной футболкой, и я вижу только край, крыло или перо. А руки, господи, его руки: предплечья, покрытые рисунками, вены, длинные, чуть побитые пальцы и тяжёлое серебряное кольцо на среднем.

Он поднимает взгляд. И я понимаю, что он меня ждал.
— Доброе утро, соседка.

Голос низкий, чуть хриплый, с ленцой. Так звучит чело-

век, который никогда никуда не торопится и не повышает голос.

У меня бегут мурашки по рукам, и я поджимаю губы. Ненавижу реакции тела, которые невозможно ни спрятать, ни контролировать.

— Доброе, — отвечаю и иду дальше, к арке.

— Тебе стоило испугаться.

Я останавливаюсь. Оборачиваюсь.

Он смотрит на меня поверх стакана, и на его лице всё та же ухмылка.

— Того, что ты... — начинаю я и сама не знаю зачем.

— Заметил тебя. Когда мыл руки, — заканчивает он. — Да. А ты курила. И сигарету держала между средним и безымянным. Необычно.

Он заметил, как я держу сигарету. Не просто увидел, а изучил и запомнил. В три часа ночи, в темноте, через пятнадцать метров.

— Тебя не беспокоит, что я видела? — спрашиваю я равно, и это единственное, чем я могу гордиться в это утро.

Он отпивает кофе. Медленно. Смотрит на меня поверх крышки.

— А тебя не беспокоит, что ты не позвонила в полицию? Я открываю рот. Закрываю. Он прав. Почему я не позвонила?

— Я не знаю, что именно видела.

Он встаёт, и оказывается выше, чем казался через окно,

метр восемьдесят пять, может, больше. Делает шаг ко мне, но не подходит близко, останавливается в полутора метрах, и полтора метра с ним ощущаются как вторжение.

— Верно. Вдруг это была краска? Или томатный сок. Или я убил человека и расчленил труп в своей квартире...

Я сглатываю, и он замечает это, и уголок его рта удовлетворённо дергается вверх.

— Я Эльдар. Но все зовут Эл.

Он не протягивает руку. Просто стоит и ждёт.

— Алёна.

— Алёна, — повторяет он, и моё имя в его голосе звучит иначе, медленнее и тяжелее, как будто он пробует его на вкус. — Не опаздывай на работу, Алёна. И старайся не пялиться в чужие окна, когда куришь ночью. Мало ли, что ещё можно увидеть.

Он проходит так близко, что я чувствую тепло его тела плечом, и идёт к своему подъезду. Я смотрю ему в спину: чёрная футболка, джинсы, тяжёлые ботинки, и на секунду ветер поднимает ткань, и открывается полоска загорелой кожи над поясом с краем ещё одной татуировки.

Он не оборачивается. И он точно знает, что я пялюсь. Ненормальная.

Я иду к метро и думаю: я не позвонила в полицию не потому, что растерялась. Я не позвонила, потому что мне не было страшно.

А вот это уже звоночек. Эта мысль пугает по-настоящему.

Глава 4. Редакция

Алёна

«Вестник» — интернет-издание про городскую культуру, затерянное на четвёртом этаже бизнес-центра у Курской. Стекланные стены, кофемашина, работающая через раз, и главред Вика, которая выглядит как человек, способный убить взглядом.

— Ты наш новый автор лонгридов и имеешь право знать, — сообщает она, не отрываясь от экрана. — Предыдущий уволился, потому что выгорел. Будь добра, не повторяй его участь.

— Постараюсь.

— Не надо стараться, делай.

Эта женщина мне нравится.

Меня сажают у окна, дают ноутбук и логин от внутренней системы. Моя соседка по столу — Маша: двадцать шесть, копирайтер, рыжие волосы и россыпь веснушек по носу.

— Кофе из машины не пей, — шепчет она. — Там такой вкус, как будто кто-то постирал носки и отжал в чашку. Я хожу в кофейню на углу. Будем ходить вместе.

К обеду я уже знаю, что Маша живёт с парнем, который «вообще-то нормальный, но иногда хочется его задушить», что Вика уходит в семь вечера и ни минутой позже, и что дизайнер Лёша влюблён в Вику и все об этом знают, кроме

Вики.

Обычная московская редакция. Обычная жизнь.

Я пишу черновик своего первого материала, про заброшенные кинотеатры в спальных районах, и ловлю себя на том, что перечитываю одно предложение четвёртый раз. Потому что думаю не о кинотеатрах.

Я думаю о крови на руках.

Достаю телефон. Набираю Кате.

— Ну как квартира? — спрашивает она вместо приветствия.

— Нормально. Слушай, странный вопрос. Если бы ты увидела, как сосед моет окровавленные руки ночью, ты бы позвонила в полицию?

Пауза.

— Ты серьёзно?

— Гипотетически.

— Лен, ты же журналист. Ты знаешь ответ. Конечно, позвонила бы.

Я вздыхаю.

— Ты не позвонила.

— Гипотетически. Он просто увидел меня и не стал тушить свет или прятаться и я...

— Алёна!

— Может, он просто... порезался. Или мясо разделывал.

В три ночи.

— Или убил кого-то. В три ночи. Что тоже вариант.

— Он сегодня так же сказал. Встретила у подъезда. Очень похоже на то, что он ждал меня.

Я молчу. Катя вздыхает.

— Он угрожал?

— Что? Нет. Не похоже, он просто... Не знаю... Решил познакомиться?

— Он горячий?

— Это не имеет отношения...

— Он горячий.

— Катя.

— Окей, окей. Будь осторожна. И купи перцовый баллончик. И замки проверяй, и чуть что — звони мне! Не хватало еще маньяка-соседа на новом месте.

Я сбрасываю и открываю инсту. Набираю адрес дома, дурацкая привычка, журналистская паранойя, и листаю геотеги. Ничего полезного: фотки двора, чья-то собака, закат с балкона.

А потом я нахожу его.

Не аккаунт, а чей-то репост. Эл молотит боксёрскую грушу, без футболки, и я на секунду забываю, зачем вообще его искала.

Пресс. Татуировки по всей левой стороне: рёбра, бок, рука до запястья, чёрная вязь и графика, которую я не могу разобрать на маленьком экране. Шрам на правом боку длинный и грубый — точно не от операции. И эти руки, перемотанные бинтами, с ободранными костяшками, бьют в грушу

так, что слышно даже через немое видео.

Двадцать тысяч просмотров. Комментарии от девчонок: огонь, сердечки, «женись на мне». И один комментарий от аккаунта с ником «ruslan.034»: «Зверь».

Я закрываю инстаграм.

Он не мясник и не повар. Он боец, и в три часа ночи он смывал с рук чужую кровь.

Мне нужно держаться от него подальше.

Я открываю черновик и заставляю себя работать.

К вечеру написано три тысячи знаков. Вика кивает: «Неплохо, но надо докрутить». И из уст этой требовательной женщины это звучит как Пулитцеровская премия.

Еду домой. От Курской до Бауманской одна остановка, и я всё равно втискиваюсь в вагон, потому что ноги гудят, и стою, держась за поручень, и думаю о том, что в моей жизни всё наконец нормально. Новый город, новая работа, новая квартира. Я уехала из Питера, чтобы начать с чистого листа, без маминых молчаливых упрёков, без Максима, без всего, что тянуло ко дну.

И в первую же ночь получила мужчину с кровью на руках и ухмылкой, от которой у меня дрожат колени.

Выхожу из метро. Иду через двор. Лавочка пустая, в его окне темно. И зачем я только проверяю...

Поднимаюсь к себе. Варю макароны на плитке, которую чудом нашла в коробке с надписью «КНИГИ», потому что логика при переезде — отдельный вид безумия. Ем стоя у

кухонного окна.

Его окно загорается в десять вечера.

Я вижу, как он входит в кухню и достаёт что-то из холодильника. На нём серая майка без рукавов, и видно татуировки на обоих плечах и повязку на правой руке, в районе костяшек. Он двигается по кухне с грацией человека, который точно знает, сколько места его тело занимает в пространстве.

Мне нужно задёрнуть шторы. Перестать пялиться, он сам мне это сказал.

Я не задёргиваю.

Он поднимает голову. Смотрит в моё окно. И я стою с тарелкой макарон, как идиотка, и смотрю в ответ.

Он поднимает свой стакан, в нём плещется что-то тёмное, и, судя по всему, алкогольное, и он чуть наклоняет его в мою сторону. Молчаливый тост через пятнадцать метров ночного воздуха.

Я показываю ему тарелку макарон.

Он смеётся. Я не слышу, но вижу: откинута голова, белые зубы, и на секунду он выглядит не опасным, а просто молодым парнем, которому смешно.

Потом ставит стакан, подходит к окну и пишет пальцем на стекле задом наперёд, медленно, чтобы я успела понять, по одной.

З. А. К. Р. О. Й. Ш. Т. О. Р. У.

Я беру со стола маркер, чёрный, перманентный, и пишу

на стекле в ответ, так же зеркально:

Н. Е. Т.

Он замирает. Смотрит. Медленно качает головой, и лицо у него меняется: ухмылка сползает, остаётся тяжёлый, серьёзный взгляд.

И до меня доходит, что он не шутил. Он действительно хотел, чтобы я закрыла шторы. Не потому, что ему есть что скрывать — свою штору он может задернуть и сам.

А потому, что мне есть чего бояться. Потому что он будет наблюдать.

Он задёргивает свою штору. Свет гаснет.

Я стою в темноте и слушаю, как колотится сердце.

Буквы на стекле не отмоются ни завтра, ни через месяц, и, судя по всему, я только что подписала важный документ не прочитав условия.

Глава 5. Бессонница

Эльдар

Четвёртая ночь. Она снова на балконе. Курит.

Я сижу в темноте и смотрю на огонёк её сигареты. Она меня не видит, у меня не горит свет, я просто тень за стеклом. Но я вижу её: профиль в свете уличного фонаря, линия шеи, когда она запрокидывает голову и выдыхает дым вверх.

Она красивая. Не так, как девчонки, которые живут на быюти-процедурах, не ухоженно-красивая. Красивая, как случайный кадр, как уличная кошка, которая сверкает на тебя глазами ночью, и ты не можешь отвести взгляд.

Мне это не нужно.

Я повторяю это себе каждый вечер. У меня есть работа, есть Марат с его субботами в подвале на Варшавской, есть люди, которые должны деньги, и другие люди, которые платят мне за то, чтобы я напоминал первым, сколько, кому они должны и как давно. Есть мотоцикл, квартира и жизнь, в которой нет места для чокнутой девчонки с макаронами, без инстинкта самосохранения и с маркером на стекле.

Она тушит сигарету и уходит в квартиру.

Я откидываюсь на стуле и закрываю глаза.

Проблема в том, что я не могу перестать о ней думать, и это раздражает. Я контролирую всё: своё тело, свой график, свои эмоции, людей вокруг. Я научился этому еще в детстве,

когда понял, что единственный способ выжить в мире, куда меня засунули, — быть тем, кого бояться, а не тем, кто боится. С тех пор я не терял контроль ни разу.

А тут девчонка в окне. Которая написала «нет» на стекле маркером. Перманентным маркером, который хрен отмоешь. Ненормальная.

Она меня не боится.

Либо она самая смелая, из всех кого я знаю, либо самая безбашенная, и я не знаю, что из этого заводит меня больше.

Телефон. Руслан.

— В субботу два боя, — сообщает он. — Марат поставил тебя на второй.

— Кто?

— Виталик. Тот, с Выхино.

— Который весит сотку?

— Сто три.

Я вешу восемьдесят девять. Разница четырнадцать кило. Марату плевать, и Маратовским клиентам, которые ставят деньги на подвальные бои без правил, тоже.

— Ладно.

— Эл, ты мог бы...

— Что?

— Ничего. Ладно. В субботу.

Руслан хочет сказать, что я мог бы уйти. Найти нормальный клуб. Тренировать, а не драться. Он заводит эту песню раз в месяц, и раз в месяц я не отвечаю.

Я не уйду, потому что мне нечем это заменить. Адреналин, боль, момент, когда мир сужается до двух рук и одного противника, и всё остальное — прошлое, детдом, шрамы — исчезает. Мне нужен этот подвал.

Но это мой выбор, и мне не нужно, чтобы кто-то смотрел на меня через окно и решал, что знает, кто я.

Пятница. Я провожу день в зале: груша, спарринг с Артёмом, растяжка, душ. Забираю мотоцикл с парковки у дома, чёрный Kawasaki, единственная вещь, которую я люблю без оговорок. Вечером еду к Марату обсудить субботу.

Офис Марата — задняя комната за барбершопом на Таганке. Кожаное кресло, сигары, охранник у двери. Марат это седина и золотые часы, и прямо сейчас он смотрит на меня поверх очков.

— Виталик бык, — роняет он. — Но медленный. Ты быстрее.

— Я знаю.

— Третий раунд. Не раньше. Клиенты хотят шоу.

Три раунда с человеком, который весит на четырнадцать кило больше, и мне нельзя вырубить его раньше, потому что люди, поставившие деньги, хотят зрелище.

— Понял.

— Эл. — Марат наклоняется вперёд. — Не подведи.

Я не подвожу. Никогда.

Еду домой. Двор, арка, мотоцикл на своё место у бордюра. Десять вечера. Поднимаю голову и вижу свет в её окне.

И её. Она стоит у подоконника с кружкой в руках, волосы распущены и, оказывается, они у нее длинные, ниже лопаток. Майка ей явно великовата и сползает с одного плеча.

Она смотрит вниз. На меня.

Я снимаю шлем, провожу рукой по волосам и стою так, зажав голову, потому что не могу заставить себя не смотреть.

Она поднимает кружку. Тот же жест, который я сделал со стаканом два дня назад. Молчаливый тост.

Ненормальная.

Качаю головой и иду к подъезду. На втором этаже оста-навливаюсь. Её крыло через двор, но дом замкнутый, и по галерее второго этажа можно пройти в любую секцию, минуя двор и домофон. Можно.

Мне приходится приложить усилие, чтобы сдвинуться с места. Поднимаюсь к себе. Захожу в квартиру.

И отдёргиваю штору.

Глава 6. Суббота

Алёна

Суббота начинается с того, что Маша звонит мне в десять утра и кричит: «Мы идём в бар вечером, ты тоже, никаких отказов, для новеньких это обязаловка!»

Я не хочу в бар. Я хочу разобрать коробки, дописать лонгрид и посмотреть три серии «Тёмных начал», которые откладывала неделю. Но Маша не принимает «нет», у неё в этом смысле есть нечто общее с одним моим соседом, и к восьми вечера я стою у зеркала, которое наконец висит на своём месте, и пытаюсь понять, не слишком ли это.

Чёрное платье. Не то чтобы короткое, но и не то чтобы длинное, до середины бедра, с тонкими бретелями, чуть свободное, но при движении обрисовывает всё что нужно. Я купила его в Питере на распродаже и надевала ровно ноль раз. Можно подумать, я планирую сегодня заводить знакомства. Хотя, почему бы и нет? Я свободная женщина, и могу делать всё, что захочу.

Волосы распущены. Тушь, бальзам для губ, серебряная цепочка, кеды, потому что каблуки я так и не нашла.

Платье и кеды. Катя бы одобрила.

Выхожу из подъезда. Вечер тёплый и густой, во дворе пахнет скошенной травой и шаурмой из ларька за углом.

Его мотоцикла нет. В окнах темно. Ну и хорошо.

Мы с Машей и Лёшей-дизайнером идём в бар на Покровке, маленький и шумный, с хорошим джином и плохим светом. Я пью «Негрони» и слушаю, как Маша рассказывает историю про то, как Вика однажды выгнала рекламодателя из офиса, потому что он назвал её «деточка».

— Она его буквально выставила. Взяла за локоть и вывела. Он был в два раза больше неё. Мы аплодировали, — заканчивает Маша, и Лёша кивает с видом человека, пережившего религиозный опыт.

Мне с ними нормально, по-человечески хорошо. Новые люди, которые ничего обо мне не знают: ни про маму, ни про Максима, ни про то, как я три месяца не выходила из квартиры после всего. Здесь я просто Алёна, новый автор лонгридов, которая пьёт «Негрони» и смеётся в правильных местах.

Иду к барной стойке за вторым коктейлем. Стою, жду бармена. И чувствую взгляд.

Не рассеянный, когда кто-то посмотрел случайно и отвернулся. Этот точечный, физический, как палец, который ведут по позвоночнику от затылка вниз.

Я оборачиваюсь, подозревая худший вариант.

Он сидит в дальнем углу бара. Чёрная рубашка, расстёгнутая на две пуговицы, серебряная цепь на шее, и видно край татуировки на груди, ключицу и линии, уходящие вниз. Рядом двое парней, оба крупные, оба коротко стриженные, и рыжий, с широким лицом, что-то ему говорит, но он не слу-

шает.

Он смотрит на меня.

Серые глаза неподвижные и тяжёлые, и от них у меня слабеют колени. Он не улыбается и не ухмыляется, просто ведёт взглядом медленно, сверху вниз, от лица к ключицам, к груди, ниже, к бёдрам, к подолу платья, к голым ногам, и обратно. Не раздевает взглядом, а как будто перебирает то, что уже считает своим, и прикидывает, что с этим делать дальше.

У меня горит лицо, шея, всё, и я объясняю это тем, что меня бесит его взгляд, бесит то, как собственнически он смотрит на малознакомого человека.

Я отворачиваюсь к стойке, руки дрожат.

— «Негрони», пожалуйста.

— Замени на что-нибудь покрепче, — раздаётся за моей спиной низкий голос. — Ей понадобится.

Я поворачиваю голову. Он стоит рядом, слишком близко, одну руку положил на стойку, и я вижу побитые костяшки, серебряное кольцо и вену, которая идёт от запястья вверх по предплечью и исчезает под закатанным рукавом.

— Я сама решу, что мне пить.

— Разумеется. — Он чуть наклоняется, и его губы оказываются на уровне моего виска, и я чувствую дыхание на коже, и мне хочется одновременно отодвинуться и придвинуться ближе. — Но ты стоишь в баре одна, в платье, от которого у половины зала проблемы с концентрацией. И мне нужно знать, с кем ты пришла.

— Это ещё зачем?

— Хочу убедиться, что уйдешь ты с тем же человеком, а не с местным колоритом. Не хочу, чтобы полиция потом тёрлась у моего дома. Это было бы... Неудобно.

Я поворачиваюсь к нему полностью, и я совершенно точно не рассчитывала оказаться с ним так близко лицом к лицу. Я вижу каждую ресницу, пирсинг в брови, маленькую серебряную штангу, которую раньше не замечала, и тонкий шрам на скуле ещё ближе.

— Я с коллегами. А ты? Вдруг я всё же решу вызвать полицию, будет полезно указать и на твоих гипотетических подельников.

— С друзьями.

— Те двое? — киваю в сторону его угла.

— Руслан и Артём. Они безобидные.

— А ты?

Он смотрит на меня долгую тягучую секунду.

— Нет. Я нет.

Бармен ставит мой коктейль. Я беру его, и наши пальцы едва не соприкасаются на стойке, миллиметр, и я чувствую жар его кожи.

— Приятного вечера, Эл, — бросаю я и ухожу к своему столику.

Иду ровно, на кедах, спина прямая, коктейль не дрожит в руке, и я понимаю, что мой организм профессионально врёт, потому что внутри я горю.

Маша смотрит на меня, когда я сажусь.

— Кто это? — И глаза у неё размером с блюдце.

— Сосед.

— Сосед?! У меня соседи — бабка с кошками и семья с тремя детьми. А у тебя ЭТО?!

Лёша печально допивает пиво.

Я делаю глоток и не смотрю в его сторону. Не смотрю. Пять минут, десять, пятнадцать, и всё это время его взгляд лежит у меня между лопаток.

К полуночи его угол пустеет. Я замечаю это раньше, чем убеждаю себя, что мне всё равно.

— Кстати, — оживляется Лёша, — тут пацаны зовут на Варшавскую. Бои в подвале, без правил. Говорят, зрелище.

Маша уже вцепилась мне в запястье.

— Мы едем. Алён, мы едем, это же такой материал!

И вот тут мне нужно сказать «нет». У меня отличная фраза наготове, про лонгрид и про воскресенье.

Я допиваю коктейль и беру сумку.

Глава 7. Подвал

Эльдар

Полночь. Варшавская. Подвал под автосервисом, куда ведёт железная лестница с обваренными наспех перилами, и внизу бетонный пол, голые лампы на проводах, человек сорок вокруг ринга, если можно назвать рингом очерченный мелом квадрат. Пахнет потом, бензином из смотровой наверху и деньгами, хотя деньги не пахнут ничем, это я придумал.

Мой мир.

Виталик — сто три кило, бритый череп, руки как брёвна. Он разминается в своём углу, крутит корпусом, и половина зала ставит на него, потому что он больше, а людям удобно верить, что больше значит сильнее. Я эту веру кормлю, а она кормит меня.

Логика ошибается, и на ошибке логики Марат зарабатывает больше, чем на самих боях.

Сижу на скамье, и Руслан бинтует мне руки. Бинты старые, застиранные, пальцы у него двигаются быстро и сами, он делал это сотни раз и давно не смотрит, что делает. Смотрит он мне в лицо, и я знаю зачем. Пытается понять, в каком я состоянии.

— Третий раунд, — напоминает он. — Не раньше.

— Я знаю.

— И не покалечь его.

— Ничего не обещаю.

Руслан качает головой и затягивает узел чуть туже, чем нужно, единственный доступный ему способ выругаться. Он мой единственный друг, не потому что понимает меня, а потому что он единственный, кто остался. Мы из одного детства. Он вышел оттуда и построил себе жизнь из простых, скучных, надёжных деталей: автосервис, жена, ребёнку два года, ипотека на двадцать лет, от которой он ноет каждый месяц с таким удовольствием, что гордость сочтётся из всех щелей. А я вышел и построил себе вот это. Подвал на Варшавской и кровь под бинтами.

Звонок.

Выхожу в круг. Виталик напротив, массивный и потный, глаза маленькие и злые, и злость у него настоящая, не рабочая. С такими проще. Злость сокращает диапазон атак, а человек с маленьким диапазоном предсказуем.

Публика шумит. Марат сидит в первом ряду, рядом с ним люди в дорогих часах, приехавшие сюда почувствовать себя живыми за наш счёт, и я привык не разглядывать их лица, потому что больше я за это не получу.

Первый раунд я танцую. Двигаюсь, ухожу с линии, не быю всерьёз, даю ему поверить, что он меня достаёт. Он и достаёт, дважды в корпус, и рёбра вспыхивают, и я держу, потому что это часть шоу, а Марат покупает шоу, а не победу. Победу он получает бесплатно, к ней прилагается моя фамилия

в его расписании.

Второй раунд. Позволяю прижать себя к канатам, и это единственное место, где я честно рискую: если он поймает меня здесь всерьёз, разговаривать со мной будут через капельницу. Удар в челюсть, голова мотается, во рту медь. Толпа орёт. Виталик решает, что побеждает, и по тому, как меняется гул, слышно, что ставки поехали вверх.

Третий раунд.

Я перестаю танцевать.

Три удара, в печень, в челюсть и в висок, коротко и без замаха, и между первым и третьим проходит меньше секунды, а внутри у меня наступает та самая пустая тишина, ради которой я сюда и хожу. Сто три кило складываются пополам и ложатся на бетон. Тишина в зале. А потом рёв, от которого дрожат лампы.

Марат улыбается. Не мне, конечно. Цифрам.

Руслан уводит меня в подсобку, я сажусь на ящик, и он осматривает рёбра. По левому боку расплзается синяк, фиолетовый и злой, завтра он станет зелёным, послезавтра жёлтым.

— Сломано?

— Нет. Ушиб.

— Уверен?

— Руслан. Я знаю, как чувствуется сломанное ребро. Это не оно.

Он протягивает бутылку воды, я пью. Руки дрожат от ад-

реналина, привычная дрожь, которая пройдёт в течении часа, и я всегда жду этого, как отлива.

— Там девчонка, — роняет Руслан.

— Где?

— В зале. Та, из бара. Зашла перед третьим раундом.

Я замираю. Вода останавливается на полпути ко рту, и первое, что происходит у меня в голове, это не мысль, а короткий расчёт: сколько людей в зале, кто из них Маратовы, кто чужие, кто мог её разглядеть и запомнить.

— Какого хрена?

— Вот и я думаю, какого хрена. Она с рыжей подругой, стоит у входа, по виду в шоке.

Встаю. Рёбра протестуют, мне плевать. Иду к двери, открываю и вижу её.

Алёна стоит у стены, рядом с ней рыжая, Маша, наверное, коллега из бара, и я успеваю подготовиться к шоку, к страху, к брезгливости, ко всему тому набору, который я читаю на лицах уже десять лет и научился не принимать близко.

На её лице нет ничего из этого набора.

Ярость.

Она смотрит на мой голый торс, на синяки, на кровь, и в её глазах не ужас, а чистая горящая злость, и я не сразу понимаю, на кого именно она злится. Версий три, и все три мне не нравятся.

— Вы, — и голос у неё тихий и острый, как лезвие, — больные. Все вы.

Маша дёргает её за руку: «Алён, пойдём, пойдём». Но Алёна не двигается. Она стоит и смотрит на меня, и я стою и смотрю на неё, и между нами три метра и запах крови.

— Тебе здесь не место.

— А тебе?

Делаю шаг к ней. Обычно этого шага хватает, чтобы человек оказался на полметра дальше, чем был, и не заметил, как это вышло. Она не отступает. Маша отступает за двоих, а Алёна стоит и смотрит мне в глаза снизу вверх, потому что я выше на голову, и в её глазах не только злость.

Я вижу беспокойство. За меня.

И от этого у меня внутри всё сдвигается с места. Виталик за три раунда не сделал со мной ничего похожего, и я стою и злюсь, и злюсь не на неё, а на собственную реакцию, потому что реакция означает, что у меня появилось место, куда можно попасть.

— Иди домой, Алёна. — Голос выходит грубее, чем я собирался, и это правильно, потому что если он прозвучит мягко, я сделаю то, о чём мы оба пожалеем, хотя пожалеем по разным причинам.

— Нет.

Это слово. Опять это слово. Она написала его маркером на стекле, а теперь произносит мне в лицо, и каждый раз оно звучит как вызов, и каждый раз я завожусь от него, как от зажигалки, поднесённой к бензину.

— Не проверяй мои границы, — предупреждаю тихо, на-

клоняясь. — Они ближе, чем ты думаешь.

Она не отступает и не моргает. Стоит так близко, что я чувствую её духи, лёгкие и цветочные, абсолютно неуместные в подвале, где воняет потом, от меня в том числе, и от этой неуместности мне почему-то хочется вывести её отсюда за локоть и никогда больше не пускать в места, где я бываю.

— У тебя кровь на губе.

И поднимает руку. Медленно, давая мне время понять, что она делает, и я не двигаюсь, и потом уже поздно. Её пальцы, тонкие и прохладные, касаются моего подбородка. Не губ, а чуть ниже, где кровь стекла и засохла. Она стирает её большим пальцем.

Я перестаю дышать.

Её кожа на моей, первое прикосновение за все эти дни перегляделок через двор, лёгкое и ничего не значащее, а у меня темнеет в глазах. Внутри что-то трескается, и этот треск звенит в ушах.

Она убирает руку, смотрит на свой палец. Потом переводит взгляд на меня.

— Иди домой, Эл, — возвращает она мне мой же голос и мои же слова. И уходит.

Подруга семенит следом. Дверь закрывается.

Я стою и смотрю на закрытую дверь, и Руслан за моей спиной молчит, потому что видит то, что я чувствую, и у него хватает ума не комментировать. За стеной ревёт зал, кто-то считает деньги, кто-то поднимает с бетона Виталика, всё

идёт своим порядком, и только у меня на подбородке горит место, где она меня коснулась. Маленький невидимый ожог.

Я в глубокой заднице. И самое поганое, что вместо выводов я уже прикидываю, во сколько она завтра выйдет во двор.

Глава 8. Дождь

Алёна

Воскресенье. Дождь стеной, такой, что в комнате темнеет к полудню.

Утром, ещё до дождя, привезли кровать. Двое грузчиков занесли её по частям, собрали за двадцать минут, попросили расписаться и ушли, оставив в прихожей гору картона и мокрые следы сорок пятого размера. Я стояла и смотрела на эту кровать посреди комнаты с голыми стенами и вдруг поняла, что до сегодняшнего дня я тут не жила. Я тут пережидала, как на вокзале.

Потом я разобрала половину коробок. Посуда встала в шкаф, книги заняли полки в два неровных ряда, матрас переехал с пола туда, где ему положено быть. К обеду я устала настолько, что решила считать остальное трофеем следующих выходных, задвинула коробки к стене и договорилась с собой их не видеть.

И вот теперь у меня ноутбук с недописанным лонгридом, чашка растворимого кофе, потому что турка так и не нашлась, и окно, по которому стекает вода.

Я не могу работать.

Я думаю о том, как стёрла кровь с его лица. Зачем? Что на меня нашло? Я увидела его побитым, в синяках, с этим кошмаром на рёбрах, и вместо того, чтобы уйти, как посту-

пил бы любой вменяемый человек, подошла и потрогала.

Я его потрогала. Как ребёнок.

И теперь у меня в памяти горит ощущение его кожи, горячей и шершавой от щетины. И то, как он замер. Он не вздрогнул, не отшатнулся, он именно замер, всем телом сразу. Так замирают, когда не понимают, что делать с происходящим, и я строю из этого версию, которая мне не нравится: к нему давно никто не прикасался просто так. Не в бою, не в драке, не по делу.

Отпиваю кофе и говорю себе: хватит.

Он дерётся за деньги в подвале. Он связан с людьми, от которых нужно бежать, а не подходить к ним с глупыми фразами. Он опасный, реально опасный, не книжный плохой мальчик с мотоциклом и ухмылкой, хотя мотоцикл и ухмылка в наличии. Он человек, чья жизнь пропитана насилием.

Я уехала из Питера, чтобы перестать быть девочкой, которая позволяет себя разбирать по частям. Максим не бил, Максим разговаривал. «Ты слишком много думаешь», «ты делаешь из мухи слона», и всё это ровным голосом, так что спорить было невозможно, потому что спорить означало подтверждать диагноз. За три года я разучилась доверять собственным ощущениям, разучилась выходить из дома без тахикардии в лифте, а когда наконец ушла, обнаружила, что не помню, какая музыка мне нравится.

Восемь месяцев терапии, чтобы вернуть себе хотя бы музыку. Новый город, новая работа, новая я, и всё это стои-

ло мне слишком дорого, чтобы отдавать наработанное за морозные серые глаза и хриплый голос.

Стук в дверь.

Я замираю. Кто? Я никого не жду, Маша бы позвонила, соседи со мной не знакомы, курьеру нечего доставлять.

Встаю, иду к двери, смотрю в глазок.

Он.

Мокрый насквозь. Волосы прилипли ко лбу, чёрная футболка ко всему остальному, и он стоит у моей двери с бумажным пакетом в руке, и на пакете логотип кофейни, которая через два двора отсюда.

Я открываю. Не знаю зачем. Это как с полицией, которую я не вызвала, и шторой, которую не задёрнула: я делаю не то, что правильно, а то, чего не могу не делать, и мне давно пора признать, что это одна и та же линия поведения, а не серия случайностей.

— Ты мокрый.

— На улице дождь, — отвечает он с видом человека, общающего свежую новость.

— Как ты узнал мою квартиру?

— Третий этаж, окно напротив моей кухни. Несложная геометрия.

Он протягивает пакет. Я беру, он тёплый и пахнет корицей.

— Что это?

— Круассаны. И кофе. У тебя вчера на подоконнике сто-

яла кружка с надписью «Мне нужен кофе и ещё один выходной». Я не знаю, что еще тебе нужно, поэтому решил дать хотя бы это.

Он читает надписи на моих кружках. Через двадцать метров и два стекла. Вероятнее всего, ещё и зумил камерой телефона, потому что без зума эту надпись с такого расстояния не разобрать.

— Спасибо. — И только теперь до меня доходит, что я стою в дверях в растянутой футболке и шортах, без лифчика, с волосами, собранными в дурацкий пучок. — Я не приглашаю тебя зайти.

— Я не просился.

Мы стоим и смотрим друг на друга. Он мокрый, в дверном проёме, и с него капает на мой коврик. Я босая, с пакетом круассанов в руках, и мне очень нужно, чтобы он не заметил, как я держу этот пакет.

— Как рёбра? — спрашиваю я и тут же себя за этот вопрос ненавижу.

— Жить буду.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который имеет значение.

Он прислоняется плечом к косяку и на долю секунды морщится, и тут же разглаживает лицо. Контроль. Даже боль у него проходит цензуру.

— Зачем ты пришла вчера? В подвал.

— Маша услышала от кого-то, что на Варшавской бои.

Потащила за компанию. Я не знала, что ты...

— Что я там буду.

— Да.

— Но ты осталась. Когда увидела.

— Я...

Мне нечего возразить, потому что так и есть. Я осталась не из любопытства и не из журналистского интереса, хотя обе эти версии я себе уже предлагала и обе отклонила по дороге домой. Я осталась, потому что увидела его в меловом квадрате, быстрого и жёсткого, увидела, как его достали в корпус, и у меня внутри всё сжалось так, как сжимается только за самых близких людей.

— Я осталась, потому что ты был ранен. И рядом не было никого, кто бы...

— Кто бы что? — Он смотрит на меня, и ухмылки нет, и лицо у него становится незнакомым.

— Кто бы о тебе позаботился, — заканчиваю я и чувствую себя голой, хотя речь идёт всего лишь об уходе за ранами.

Он молчит. Долго. Дождь шумит за его спиной гулко, как в пустом ведре. Капля стекает с его волос по виску, по скуле, по шраму, и я слежу за ней взглядом, потому что смотреть ему в глаза сейчас невозможно.

— Не надо обо мне заботиться. — Голос у него глуше обычного.

— Почему?

Он отлипает от косяка, делает шаг назад, и ухмылка воз-

вращается на лицо целиком, деталь за деталью.

— Потому что я не стою твоей заботы, Алёна.

И уходит. Мокрые следы на линолеуме в коридоре.

Я закрываю дверь и стою, прижавшись к ней спиной. В руках тёплый пакет.

Он принёс мне кофе и круассаны. Человек, который дерётся за деньги и смывает чужую кровь в три часа ночи, пришёл под ливнем и притащил мне круассаны, потому что прочитал надпись на кружке.

Я сползаю по двери на пол, сижу, обняв бумажный пакет, и слушаю дождь.

Я в беде.

Глава 9. Крыша

Эльдар

Понедельник. Зал. Груша. Удар, удар, ещё удар, костяшки горят сквозь бинт, рёбра ноют на каждом развороте корпуса, и мне плевать, потому что боль в этом деле работает как таймер: пока болит, я здесь и ни о чём другом не думаю.

Обычно не думаю.

Артём держит лапы. Мы работаем молча, он знает, когда со мной не надо разговаривать, и я ценю в нём это больше, чем всё остальное. Ему двадцать семь, бывший борец, ушедший после травмы колена, теперь тренирует и иногда дерётся за Марата. Мы не друзья, я не умею дружить, но рядом с ним у меня не поднимается фон.

— Ты рассеянный, — замечает он после третьего раунда.

— Нет.

— Ты бьёшь мимо.

— Я бью туда, куда хочу.

Он молча поднимает бровь, и мы оба знаем, что я вру, и он не станет уточнять, а я не стану объяснять, и на этом наш диалог исчерпан на ближайшие две недели.

Я бью мимо, потому что думаю о том, как она сказала «кто бы о тебе позаботился». Без нажима, без жалости, буднично, будто озвучила очевидное. Будто забота это то, что люди по умолчанию делают друг для друга, и странно не то, что она

об этом заговорила, а то, что она попала.

Обо мне не заботились. Детдом не место, где заботятся, детдом место, где считают: кто сильнее, кто с кем, кто сегодня один. Отец у меня вопрос без ответа, я его не видел ни разу и перестал придумывать ему лицо лет в девять. Мать умерла, когда мне было четыре, и от неё в памяти осталась сирень, больничная кислятина и тёплые руки на моём лице, и я до сих пор не знаю, помню я это или собрал из чужих слов.

Марат забрал меня в шестнадцать. Не из доброты, из расчёта: посмотрел, как я дерусь во дворе детдома, и увидел то, что потом подтвердилось. Быстрый, злой, терять нечего. Идеальный набор для его бизнеса, и он до сих пор считает, что оказал мне услугу, и, если честно, он её оказал.

Мне двадцать шесть. Десять лет подвалов, чужой крови, конвертов и людей, которые смотрят на меня с одним и тем же выражением. Страх удобен. На страхе всё держится, страх экономит слова.

А она смотрит иначе, и я не понимаю, что она видит, и это раздражает сильнее, чем должно.

Вечер. Еду домой, ставлю мотоцикл, поднимаю голову: свет в её окне. Она сидит за столом, ноутбук перед ней, открыт. Видимо, работает.

Поднимаюсь к себе, ужинаю стоя, смотрю, как она печатает, быстро, не отрывая глаз от экрана. Иногда останавливается, прикусывает губу, потом печатает снова, и я успеваю

выучить этот цикл наизусть раньше, чем доедаю.

Если она прикусит губу ещё раз, я за себя не отвечаю.

Телефон. Марат.

— Встреча с Ильясом. Ты мне будешь нужен.

Ильяс это большие деньги и большие проблемы, и я не спрашиваю зачем, потому что знаю зачем. Я инструмент. Моя работа стоять за плечом Марата и молчать, и одного моего присутствия хватает, чтобы разговор шёл в нужную сторону.

— Буду.

Вешаю трубку. Смотрю в окно. Она подняла голову, видит, что я стою с телефоном, не знает, о чём был разговор, и не узнает.

Поднимаю руку и пишу на стекле. Буквы в обратную сторону, как в прошлый раз.

С. П. И.

Она улыбается. Берёт маркер, он по-прежнему чёрный и перманентный, и следы прошлого «НЕТ» никуда с её стекла не делись и не денутся до зимы, и выводит:

С. А. М. С. П. И.

Качаю головой. Ухмыляюсь. Задёргиваю штору.

Ложусь. Потолок в трещинах, дом старый, и я разглядываю их четвёртый год.

И тут звук сверху. Шаги, не в доме, снаружи, по кровле. Потом музыка, тихая и глухая, через перекрытие.

Встаю, бросаю взгляд в её окно. На стекле появилась мар-

керная стрелка вверх. Натягиваю джинсы, выхожу на лестницу и поднимаюсь на крышу, дверь всегда открыта, замок сломан уже год, и я знаю об этом, потому что человек, который это сделал — это я.

Она стоит у парапета. Наушник в одном ухе, сигарета между средним и безымянным, и смотрит на ночную Москву, на огни, на небо, тёмно-рыжее от подсветки.

Оборачивается. Не вздрагивает. Как будто ждала.

— Ты на моей крыше.

— Технически на нашей общей.

— Технически на моей половине дома.

— Технически дверь на крышу из моего подъезда не открывается, и я пришла через твой.

Подхожу ближе. Ветер шевелит ей волосы, и я чувствую её духи, те же, что в баре, и кофе, и сигарету, и я впитываю слишком много деталей для человека, который поднялся чтобы сказать «иди спать».

— Ты должна была спать.

— Ты тоже.

— Я мало сплю.

— Я заметила. — Она затягивается и выдыхает дым в сторону от меня. — У тебя свет горит до трёх каждую ночь. Потом ты выключаешь и лежишь в темноте. Ворочаешься. Я вижу.

Значит, она наблюдает за мной ровно так же, как я за ней, и по-хорошему меня это должно насторожить, потому что я

не люблю, когда за мной наблюдают. Вместо настороженности под рёбрами разливается тепло, глухое и тяжёлое, и я не знаю, куда его девать.

— Бессонница?

— Кошмары.

Не знаю, зачем сказал. Я никогда никому этого не говорил, даже Руслану, хотя Руслан и так знает, десять лет наши кровати соседствовали.

Она не отвечает и не лезет с сочувствием. Стоит, смотрит на город, а потом молча протягивает мне сигарету.

Я беру. Наши пальцы соприкасаются, и я чувствую прохладу её кожи и то, как она задерживает руку, и не понимаю, случайность это или проверка.

Затягиваюсь. Лёгкие, почти без вкуса, фильтр влажный от её губ.

Мы стоим на крыше, курим одну сигарету на двоих и молчим, пока сигарета не заканчивается.

— О чём кошмары?

— О том, что я делал.

— О плохом?

— Хорошего, из-за чего снятся кошмары, не бывает.

Она поворачивается ко мне и она близко: я вижу её глаза, карие и тёплые, с золотыми крапинками у зрачка, и раньше я этого не видел, и теперь запомню навсегда.

— Ты можешь быть кем-то другим. Если захочешь.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что это я.

Я стою и смотрю на неё сверху вниз, и в голове идёт короткий понятный расчёт. Если я сейчас её поцелую, я не остановлюсь. Если не остановлюсь, я втяну её в свою жизнь. А моя жизнь это подвалы, Марат, конверты и люди, которые запоминают лица тех, кто рядом со мной.

— Иди спать, Алёна.

— Ты снова меня прогоняешь.

— Я тебя защищаю.

— От чего?

Наклоняюсь так близко, что чувствую её дыхание на своих губах, тёплое, с привкусом дыма.

— От себя.

Глава 10. Гроза

Алёна

Среда. Грозу обещали с утра, но она приходит только к вечеру, зато вся сразу: молнии, ливень стеной, ветер, который выкручивает тополя во дворе. Метро затопило, я добирюсь на такси и всё равно промокаю насквозь, потому что от машины до подъезда тридцать секунд, и этого более чем хватает.

В квартире темно, электричество вырубил. Стою в прихожей, с меня капает, телефон показывает двадцать три процента, и я думаю о том, что зарядка мне сегодня не светит.

В одной из коробок нахожу свечи, маленькие, ароматические, лавандовые, купленные когда-то для настроения и оказавшиеся стратегическим запасом. Одну ставлю на подоконник, вторую на тумбу в прихожей. Переодеваюсь в сухое, в футболку и бельё, всё равно никто не видит.

Подхожу к окну. Его окно тёмное, как и все остальные, район лежит без света весь, и от этого двор выглядит старше лет на сто.

Молния. На секунду двор заливает белым, и я вижу внизу, у подъезда, человека. Нет, двоих. Один на земле, второй стоит над ним.

Второй — Эл.

Прижимаюсь к стеклу. Темнота, и в темноте я слышу толь-

ко дождь и собственное дыхание. Ещё молния, и я вижу, как Эл наклоняется, берёт человека за грудки и поднимает, будто тот ничего не весит. Что-то говорит, я не слышу через стекло и ливень. Человек кивает, быстро и судорожно. Эл отпускает, и тот уходит к арке, спотыкаясь, и на бегу оглядывается один раз.

Эл остаётся стоять под ливнем и смотрит вверх. На моё окно.

Нет. На свечу.

Он видит свечу на подоконнике. И видит меня за ней.

Мне нужно отойти от окна и задёрнуть штору, а заодно перестать оказываться в ситуациях, где я вижу то, что видеть не должна. Я умею считать последствия, я этим зарабатываю, я знаю, чем заканчиваются такие сюжеты у героинь, о которых я пишу лонгриды.

Но я стою.

И он стоит. Мокрый насквозь, под водой, которая льётся с неба сплошняком, и смотрит на меня.

А потом идёт к моему подъезду. Я успеваю подумать, что домофон мёртвый, и следом понимаю: раз он мёртвый, магнит отпустил, и дверь открыта кому угодно.

Шаги на лестнице, гулкие и мокрые. Второй этаж. Третий. Моя дверь.

Стук, один раз, тяжёлый, костяшками.

Я открываю.

Он в дверном проёме, и с него льёт. Волосы прилипли ко

лбу, футболка стала второй кожей, и видно каждую линию тела, плечи, грудь, живот, татуировки под мокрой тканью, и то, как он дышит, тяжело, как дышат после драки.

На правой руке кровь. Снова. Немного, на костяшках, свежая и яркая, разбавленная дождём.

— Что... — начинаю я.

— Он следил за тобой.

— Что?

— Мужик. Стоял у твоего подъезда. Я его уже видел на неделе, сегодня второй раз.

Мне холодно, и не от мокрой одежды.

— Кто он?

— Я не знаю. И если это не человек из твоего прошлого, то вполне возможно, что тобой заинтересовался кто-то из моего настоящего.

— С чего бы кому-то...

— Тебе не нужно было приходить на Варшавскую.

Я чувствую, как мое лицо остывает, кровь отливает от головы.

— Он больше не придёт.

— Эл, ты не можешь просто...

— Могу. — Он смотрит на меня, и в его глазах поднимается тёмное спокойствие. — Если кто-то стоит под твоим окном ночью, я могу. И буду.

— Я тебя не просила...

— Тебе не нужно просить.

И вот здесь я должна возразить по существу. У меня есть аргументы, у меня есть образование и три года практики в текстах про то, чем такая логика заканчивается для женщин, и я знаю точное название того, что он только что сделал. Проблема в том, что мне не страшно от его слов. Мне от них тепло, и это единственное, что меня по-настоящему пугает в этой прихожей.

Мы стоим в дверях. Молния, белая вспышка, и я вижу его лицо, мокрое, напряжённое, с расширенными зрачками.

— Ты дрожишь.

— Мне холодно.

— Врёшь.

Я вру. Мне не холодно.

— Зайди.

Он не двигается. Стоит и смотрит, и я вижу, как работает его челюсть, и как он ведёт по мне взглядом: футболка, голые ноги, отсутствие лифчика, которое он замечает и не пытается сделать вид, что не заметил. Взгляд задерживается на моей груди на бесконечную секунду и возвращается к глазам.

— Если я зайду, — и голос у него ниже и глуше обычного, — я не уверен, что смогу вести себя прилично.

— Я не просила тебя вести себя прилично.

Тишина. Только дождь и моё сердце, которое пытается выбить рёбра изнутри.

Он делает шаг вперёд, через порог, в мою квартиру, закрывает за собой дверь не глядя, рукой за спину, и мы ока-

зывается в тёмной прихожей, где весь свет это две свечи и молнии за окном.

Он рядом, я чувствую жар его тела сквозь мокрую одежду, дождь, кожу и горькую металлическую ноту адреналина. Кровь на его руке чужая и ещё не высохла, и я смотрю на неё и думаю, что мне следовало бы задать несколько вопросов прямо сейчас.

— Дай руку.

Он смотрит на меня. Протягивает правую, побитую. Я беру её обеими ладонями, она тяжёлая и горячая, пальцы длинные, кольцо холодит кожу. Беру свечу и веду его в ванную. Включаю воду.

— Что ты делаешь? — спрашивает он.

— Помолчи. Посвети лучше.

Он издаёт звук который не похож на смех, но означает именно это, и светит на руку фонариком от телефона. Я мою её, осторожно, обводя пальцами ссадины на костяшках, и кровь стекает розовой водой в белую раковину, и я уже видела нечто похожее из окна напротив, только тогда вода была намного темнее, и между нами было пятнадцать метров, а сейчас нет ничего.

— Аптечка. Верхняя полка.

— У тебя аптечка на верхней полке, а ты ростом метр шестьдесят.

— Метр шестьдесят пять. У меня есть табуретка. И я еще не совсем разобралась с логистикой в этом доме.

Он тянется сам, одной рукой, через меня, и его тело на секунду прижимается к моему, мокрое, горячее и тяжёлое. Я не дышу. Он снимает аптечку, ставит на край раковины и не отодвигается.

Мы стоим в крошечной ванной, он всё ещё мокрый и всё ещё вплотную, его рука в моей, и я достаю перекись и ватный диск и обрабатываю ссадины, а он не морщится, хотя щипать должно так, что нормальный человек шипел бы.

— Ты не вздрагиваешь даже.

— Привык.

Одно слово, а за ним целая биография, и мне хватает ума не просить подробностей.

Заклеиваю костяшки пластырем, дурацким, с ромашками. На его побитых пальцах, с серебряным кольцом и татуировкой на каждой фаланге, ромашки выглядят как гости из другой галактики.

— Готово. — И я поднимаю глаза.

Он смотрит на меня сверху вниз, и на его лице нет ничего привычного: ни ухмылки, ни маски, ни контроля. Просто Эл, мокрый в моей ванной, с ромашками на пальцах, и от его взгляда я забываю, как строятся простые предложения.

— Ты, — и голос у него ломается, будто слово оказалось тяжелее, чем он рассчитывал, — не должна была мне открывать.

— Наверное.

— Ты не должна была обрабатывать мне руку.

— Наверное.

— И ты точно не должна стоять так близко ко мне, в этой футболке, и смотреть на меня так, будто я заслуживаю чего-то хорошего.

Молния, и его лицо на секунду в белом свете, и я вижу каждую деталь: серые глаза, почти чёрные от расширенных зрачков, мокрые ресницы, шрам, пирсинг в брови, приоткрытые губы, рваное дыхание.

— А ты? — шепчу я. — Ты не должен был приносить мне круассаны.

— Знаю.

— И стоять под моим окном.

— Знаю.

— И бить людей из-за меня.

— Это я буду делать в любом случае.

Тишина. Дождь. В зеркале над раковиной наши отражения: он большой, тёмный, мокрый, я маленькая рядом с ним, с запрокинутой головой.

Его рука с ромашками поднимается. Медленно. Я вижу, как дрожат его пальцы. Человек, который бьёт людей не моргнув, дрожит, когда тянется к моему лицу, и от этой дрожи у меня внутри всё проваливается.

Он не касается. Пальцы в миллиметре от моей щеки, я чувствую жар кожи и не чувствую прикосновения. Он держит руку замершую в воздухе, и смотрит на меня.

— Скажи мне уйти. Сейчас. Одно слово, и я уйду. И зав-

тра задёрну шторы. И мы будем соседями, просто соседями.

Мой ответ вылетает одним выдохом, раньше, чем я успеваю передумать:

— Нет.

Его пальцы ложатся на мою щёку.

И мир кончается.

Его ладонь, горячая и шершавая, с перебинтованными костяшками и ромашками на пластырях, обхватывает моё лицо, и я чувствую каждую мозоль и каждый рубец его кожи на своей, и этого невыносимо много после месяцев, когда меня не трогал никто, и у меня подкашиваются ноги.

Он чувствует и ловит меня второй рукой за талию, притягивает к себе, и теперь я прижата к нему, мокрому, тёплому и твёрдому, и моя ладонь у него на груди, а под пальцами бешеное сердце.

Его сердце колотится так же, как моё.

— Алёна.

Он наклоняется, его лоб к моему, кончик носа к моему, губы в сантиметре, и я чувствую его дыхание, горячее и рваное, с привкусом мяты и дождя.

— Я не хороший человек, — шепчет он.

— Я знаю.

— Я сделаю тебе больно.

— Может быть.

— Меня это не остановит.

И он целует меня.

Глава 11. Огонь

Эльдар

Её губы мягкие и горячие, и на вкус как кофе. Я успеваю подумать об этом одну секунду, а потом думать перестаю, потому что она выдыхает мне в рот и прижимается сразу вся, бёдрами, животом, грудью сквозь тонкий хлопок, и у меня перемыкает.

Вдавливаю её в стену ванной. Мокрый кафель, скользкий и холодный, она ахает от контраста, мой горячий рот

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.